

**Мариуш ВИЛЬК**

## **ДОМ НАД ОНЕГО**

*Как вода, мир через тебя переплывает  
и на какое-то время передает тебе свои цвета.*

*Потом отступает и снова оставляет одного  
с той пустотой, которую носишь в себе.*

*Николя Боувер*

Конда, 1 сентября 2003

После долгого молчания словно вынырнул из глубин Онего, оставляя в изумрудном полумраке безмолвные призраки.

Генрих Ельзенберг, один из авторов, с которыми никогда не расстаюсь, записал в своем дневнике 5 мая 1936 года, что действительности, пережитой в уединении и неотраженной в сознании другого, – не существует.

Быть может, писать – есть один из способов упрочения своей реальности?

2 сентября

Для начала несколько слов в качестве объяснения столь долгого отсутствия моего дневника в «Rzeczpospolitej<sup>1</sup>».

Итак, весной прошлого года – едва лед начал таять – я сменил место жительства в России. После десяти лет жизни под кругом Полярным переправился с Соловецких островов на Белом море в деревню Кондобережские на Онежском озере и осел в старом бревенчатом доме.

Переехал по трем причинам.

Во-первых, в последнее время Соловки стали шумливы (туристы, бизнес, политика), а я люблю тишину, о которой отец Людвиг (Томас Мертон<sup>2</sup>) говорил, что если не научишься ее слушать, не сможешь сказать то, что важно.

Во-вторых, тему Соловков вычерпал, как место жизни они иссякли сами.

В-третьих, я полюбил Карелию, ее глаза цвета Онего и скрытую в них глубину, и в какой-то момент до меня дошло, что в двух местах быть невозможно. В двух местах можно лишь бывать.

Потому поселился в Заонежье.

С тех пор в моей жизни многое изменилось:

- вид из окна (сейчас по утрам вглядываюсь в Онего) и запахи со двора (ламинарию заменила дикая мята);

- рыба на столе (вместо трески иль сельди – лосось, паляя, форель) и гости за столом (чаще местные мужики, чем туристы из Польши).

- отношение к рабочим инструментам (крепкий колун ценю выше ноутбука) и к самой работе. Ведь труд, по мнению Блока, всегда одинаков, складываешь ли печь или вирши строишь.

Не смотрю телевизор!

Не слушаю радио!

Не читаю газет!

---

<sup>1</sup> Мариуш Вильк с 1995 года аккредитованный корреспондент при МИДе России. Его *Северный дневник* печатался на страницах журнала «Культура» в Париже, после смерти главного редактора Ежи Гедройца журнал закрылся, и с тех пор дневник регулярно печатается в литературном приложении «Plus-Minus» газеты «Rzeczpospolitej».

<sup>2</sup> Томас Мертон (1968) – монах ордена тропистов (молчащих), автор многих книг.

- В сон меня клонит не шум Белого моря, а шепот тополей и плеск Онежского озера. Второго по величине в Европе.

И так далее...

Словом – живу здесь иначе. И медленнее – чуть.

Ведь в картину за окном надо входить не спеша, чтобы уловить игру света на воде в зависимости от поры года, толщи облаков и времени суток. И запахи во дворе следует постигать не торопливо, чтобы не баять об анаше там, где растет обычная конопля.

Людей также сначала приходится узнать, дабы понять не только о чем говорят, когда выпьют, но и о чем молчат, когда трезвые. И уж потом обо всем этом можно писать.

Отсюда пауза в дневнике.

*11 сентября*

*Самодисциплина – один из элементов  
настоящей свободы человека.*

Томас Мертон

С утра дует шалонник (юго-западный ветер). Онего встает на дыбы раз за разом и бежит ко мне белыми гребнями волн. Ледяная вода захватывает дух. Тело еще расслаблено от сна и теплой постели, быстро коченеет, и даже быстрый кроль не помогает. Волны сбивают с ног при выходе на берег. Воистину – море.

Долго растираю жестким полотенцем живот, ноги, руки и плечи, чтобы вернуться в собственное тело, несколько глубоких вдохов, кланяюсь солнцу и сажусь за работу.

«Тот, кто хочет писать, – учил Цай Юнь, известный мастер эпохи Чан, автор первого в Поднебесной трактата об искусстве каллиграфии, – пусть сядет удобно, успокоит мысли и пустит их свободно, не формулируя слов, не задерживая дыхания, пускай водворит свой дух глубоко в себя, и тогда, несомненно, письмо выйдет у него превосходно».

\*\*\*

Еще одной причиной моего длительного молчания на страницах «Rzeczpospolitej» было отсутствие электричества.

Да, да! – в Кондобережских, когда переехал, не было света. А я без компьютера – ни бэ ни мэ. К сожалению, отвык от ручного письма. И так, следовало в первую очередь провести электричество.

Иными словами, поставить шесть столбов высокого напряжения от главной линии до подстанции в деревне и еще два столба от подстанции к дому, смонтировать и заземлить подстанцию, протянуть сотни метров провода, распределить кабель по дому и все официально зарегистрировать.

Ба, легко сказать...

Каждый, кто хоть немного знает русскую глубинку, поймет, сколько при этом было канители в учреждениях, беготни от одного начальника к другому по принципу: чем ниже ступень и дальше от центра, тем больший страх перед принятием решения. Сколько пришлось представить справок к рассмотрению, бумаг на подпись, разрешений на штамп. Сколько надо было дать «на лапу».

Каждый, кто хоть раз имел дело с русским мужиком, также представляет себе, сколько с мастерами пришлось возиться, ибо как не запой, так сенокос – чтобы работу, за которую взялись, закончили. Сколько часов потратить на ожидание, рублей на взятки, нервов на безалаберность. И водки на похмелье.

Ибо тот, кто никогда не жил в российской деревне, не может знать, как выглядит сейчас сельское общество – а скорее то, во что оно выродилось после многих лет коммунистических экспериментов. Когда-то общиной могли церковь за три дня поставить или соседям-погорельцам дом отстроить заново. Сегодня вместе только выпить умеют да подраться. Мысль, чтобы свет в деревню сообща провести, даже пьяному не пришла бы в голову.

Здесь позволю себе небольшое отступление. Михаил Пришвин, один из чтимых мною авторов, пишущих о Карелии, утверждал, что вместо траты времени на путешествия по бескрайним пространствам лучше осесть в каком-нибудь характерном закутке и, приглядевшись к нему с близкого расстояния, составить мнение о крае шире, чем может дать любой вояж.

Я, наученный опытом, считаю, что еще лучше в том же характерном закутке что-нибудь предпринять и заставить жителей действовать. Например: купить дом и начать его ремонт, попробовать отреставрировать сельский храм или электричество провести. Одно дело жить среди туземцев на правах чужого – волка-одиночки, собирателя былин, дачника – вдали от их проблем и забот, а совсем другое вторгнуться в их интересы, столкнуть между собой и глубоко взволновать.

Возвращаясь в Бережские, скажу, что авантюра с электричеством больше мне поведала о быте и обычаях заонежан, чем десятки ранее прочитанных книг и сотни рассказов знакомых, которые приезжают сюда собирать летом ягоды да былины. Научился, например, не слушать ни советов, ни брани соседей, а смотреть им на руки, не давать мужикам задатка, пока не закончат работу, не ждать до весны, пока лесники выйдут из зимнего запоя, только самому валить

сосны на столбы, пока соки не начали в дереве кружить. Быстро до меня дошли размышления поэта Александра Блока о русском мужике, но об этом напишу в другой раз.

Итак, после нескольких месяцев мытарств электричество в Кондобережские провели. Тем самым закончили здесь дело Ленина. Но коммунизма от этого больше не стало, ибо советская власть слиняла.

*14 сентября*

Летом гостил у нас Веня Слепков, главный редактор газеты «Петрозаводск». Приехал взять у меня интервью, а заодно отдохнуть от городской суеты – как выразился.

– А как будет суета по-польски? – спросил.

– «Marnosc» – ответил я, цитируя фрагмент из «Книги Екклесиаста» в польском переводе Якова Вуйка.

– По-славянски звучит короче, – заметил Веня.

– И точнее.

Проблема языка проскальзывала в разговоре весь вечер и половину следующего дня. В итоге выскочила забавным ляпсусом на первой полосе «Петрозаводска». Но об этом позже.

Главная тема интервью – Российская Федерация в глазах иностранца, который живет в ней непрерывно тринадцать лет. Россия – это Европа или...?

– Если француз или немец окажется в Азии и увидит желтые лица, рикшей на улице и палочки в баре, сразу поймет, что дело имеет с другой цивилизацией, а тем самым – с иной шкалой ценностей, с другим подходом к миру. Тот же француз или немец, находясь в Москве, видит «Мерседесы» и «Ауди», ирландские пабы, итальянские пиццерии и белых людей (пересчитывающих все на евро), вот и кажется ему, что он у себя дома. После чего возмущается, что демократией здесь управляют и права женщин не признают, ругает пробки на дорогах, ибо ездят без правил, сетует на хамство в магазинах. К тому же туалетов нету.

– Хочешь сказать...

– ...если бы россияне имели зеленый или алый цвет кожи, никто не упрекал бы их за отсутствие демократии в европейском смысле этого слова, за избыток алкоголя в крови, за недостаток европейских манер (например, что снимают обувь в гостях...) или за инфантильное отношение к женщинам. Зеленый абориген – и Европа, сам подумай.

– А как ты, европеец, белый человек, в конце концов чувствовал бы себя среди зеленых людей?

– Видишь, Веня, я слишком долго живу в России, чтобы мерить вас европейской меркой. Поэтому мне все равно, зеленый ты, как салат, или красный, как борщ. Цвет твоей кожи не имеет для меня никакого значения. Но тогда, тринадцать лет назад, когда в первый раз вышел из поезда на Белорусском вокзале, увидев на улице зеленых людей, хм... Наверняка меньше бы рассуждал, быстрее отбросил предубеждения и раньше или позже сам бы немножко позеленел.

– ?

– Ведь большинство иностранцев после нескольких лет жизни в России начинают чувствовать себя в Европе как в шкафу: теснота на полках, какие-то ящики, ящички и везде воняет нафталином. Здесь же потолок высоко, соседи далеко.

– Так, – вздохнул Веня, выглянув в окно, – простору тут позавидуешь. Никто не помешает. Знакомые не оторвут от работы, телевидение настроения не испортит, ни кино, ни кабак не соблазнят.

– Сейчас ещелюдно. Летом Бережские оживают, народ из города приезжает и в огородах целыми днями горбится. Одни над озером с удочкой сидят, другие по лесу бродят, грибы да ягоды собирая. Зато зимой пусто. Только волки воют.

– Так что тебя потянуло в это безлюдье?

– Это безлюдье не всегда было безлюдным. Не забывай, что Заонежье благодаря шунгитовым почвам, которые называют северным черноземом, относилось к богатейшим и густозаселенным районам российского Севера. Вспомни хотя бы знаменитые ярмарки в Шуньге, на которые приезжали купцы со всей России, и не только. Как тот еврей из Варшавы, приехавший за птичьими шкурками, ибо у польских дам тогда была мода на сорочки перья в шляпках. Или посмотри на снимки в недавно изданном альбоме «Заонежье в старых фотографиях», богатые дома, зажиточных людей. Отметь, как гордо смотрят. А и сами Кижы! Ведь эти памятники не имеют аналогов в мире. Не случайно профессор Орфинский назвал Заонежье феноменом деревенской культуры. Вот одна из причин, почему я здесь поселился.

– Меня, однако, удивляет, что ты ищешь правды о России на ее окраинах. Там, где русская культура подвергалась инородным влияниям. Сначала отсидел десять лет на Соловках, как у нас говорят, у черта на куличках, где сейды саамов соседствуют с валунами православных стен, оплетенных к тому же колючей проволокой. Сейчас же забился в вымирающее Заонежье, где ученые до сих пор отыскивают то вепские следы, то карельские, то русские. Может, в каком-то богом забытом уголке средней полосы, где-нибудь над Волгой или

Окой, нашел бы ты больше материала, больше русского фольклора и чисто русских типов.

– Здесь, на Онежском озере, произошел целый ряд разнообразных «стыков», не только культурных. Их перечень можно начать от стыка балтийского щита с русской плитой (граница между ними как раз здесь проходит), а закончить на стычке двух групп интересов – тех, кто ратует за добычу здесь урана и тех, кто говорит, что это смерть целого региона. Что касается культурных «стыков», я противоположного мнения. Ибо считаю, что встречи культур приносят больше плодов, чем монокультуры, зацикленные на себе. А заодно лучше сохраняют друг друга.

– Приведи конкретный пример.

– Пожалуйста: русская былина. Заонежье вошло в мировую фольклористику как «Исландия» русского эпоса. Сколько было охов да ахов, когда сосланный в Петрозаводск за вольнодумство студент Павел Рыбников (*nota bene*: позднее вице-губернатор Калиша) опубликовал в 1861 году первый том собранных здесь былин. Вначале не хотели верить, что в Олонецкой губернии, под самым носом у столицы, какой-то старорусский эпос сохранился. Другое дело Сибирь, вдали от цивилизации, там, быть может, действительно что-то осталось от русской старины, но здесь – нет, невозможно, говорили и... обвиняли Рыбникова в мистификации. Позднее, когда убедились, на руках его носили и орденами награждали. А сам Павел Рыбников сохранность былин в Заонежье объяснял «украиной между карелами и чудью», на которой оказались русские, ибо это их вынудило сохранить в своей народной памяти былины о славной киевской и новгородской древности и тем самым сохранить народную автономию. С другой стороны происходил аналогичный процесс, карелы также для сохранения народной самобытности пели руны. Итак, благодаря этой встрече культур над Онежским озером дошли до нас два великолепных памятника мировой литературы: старорусские былины и карело-финский эпос *Калевала*.

– О'кей, убедил. Вернемся к феномену деревенской культуры Заонежья. Действительно считаешь, что от неё что-то сохранилось, кроме старых фотографий и памятников в Кижях? Кроме того, ты единственный живущий в российской деревне иностранец, которого знаю. Почему вдруг деревня?

– Ты это называешь деревней? Эй, же...

– А как ты бы назвал?

– Не знаю, Веня, как назвать то, что осталось, но точно не деревня... По крайней мере в том смысле, в каком она была раньше. К тому же на карте Кондобережских или вообще нет, или обозначены как «нежилые». Другими словами, это скорее призрак деревни. Лжедеревня. Село-обман.

– Тем более не понимаю, почему ты здесь?

– Ибо думаю, что гибель деревни была важнейшим событием XX века в России. Ни войны, ни революция, ни даже «строительство социализма», а именно уничтожение деревни радикально изменило лицо России. И чтобы лучше рассмотреть ее новый облик, я решил для себя, что недостаточно разглядывать лики новых русских, лоснящихся в пабах на Тверской, в кулуарах Белого Дома или на экране телевизора, но следует также заглянуть в лица тех, которые остались на месте гибели. Посмотреть в их обезумевшие от безысходности глаза.

– И долго намереваешься смотреть?

– Может быть, год, а может, два. Нашел здесь много сюжетов для обработки собственными руками, как глину для моей русской печи.

– Это метафора?

– Не совсем, это опыт. Когда перебрались в дом над Онего, печи тут были разбиты, своды обвалились, к зиме надо было их отремонтировать. Начал с поисков печника. Первый пришел, посмотрел и молвит: «Надо новую печь строить». Насчитал пару тысяч кирпичей, которые нужно раздобыть и больше не появлялся. Хорошо, его не послушали, что бы делали с этой кучей кирпичей? Другой весь испачкался, влезая в печь, помедитировал, покрутил носом, взял задаток за песок и исчез. Третий явился неожиданно, словно упал с неба на тракторе, привез песок, взял деньги за песок и слетел с трактора, сломал шею. Больше печников не искал, сам взялся за печь. Сосед показал, в каких пропорциях глину с песком надо мешать и сколько добавить сажи к тесту. Благодаря этому знаю о строительстве русской печи больше, чем иной русский.

– Не говоря о поляках. Скажи, земляки тебя еще понимают?

– Спроси земляков. Иногда доходят до меня слухи, чаще всего ругают за русицизмы. Сначала объяснял, растолковывал, потом успокоился. Кто пережил, будет знать, о чем говорю, кто не испытал, ну что ж... Мой друг Гельмунт из Кельна, многолетний корреспондент одной из немецких газет в Москве, сказал когда-то: «Чтобы писать со смыслом о России, надо прожить здесь не меньше десяти лет. – И добавил: – Только тогда уже не захочется писать».

И тут Веня меня удивил. Оказалось, готовясь к нашему разговору, он прочитал не только все мои тексты, переведенные на русский язык, но нашел также старый *Пролог*, написанный мной по-русски по просьбе отца Иосифа, архимандрита Соловецкого монастыря.

– А не думал, чтобы перейти на русский язык? Как ваш Конрад на английский?

– Пока нет. Хотя мне все чаще кажется, что я российский писатель, пишущий по-польски.

С последней фразой вышел забавный ляпсус, о котором упомянул в начале разговора. Веня отдал готовый текст интервью в печать, а сам поехал в Гагры. Интервью вышло с моей фотографией и подпись: «Польский писатель, пишущий по-русски». В итоге непонятно, кто я.

### *19 сентября*

Бабье лето в Заонежье – как у Клюева – златом ткет сентябрьские дни. Опушка бора словно паперть – сосны в молитве сочат живичные ароматы. Ночами над нашей часовней мерцает красный Марс.

В лесу грибов не счесть – белые, подберезовики, опята, волнушки, черные и белые грузди – старики в Заонежье не помнят такого урожая. Собираем грибы целыми лодками. Да-да, ведь грибов особенно много на островах. А и перевозить их на веслах легче, чем в руках таскать. Потом Наташа чистит, сортирует, сушит, варит, маринует, квасит, солит, тушит. Весь дом наполнен запахом грибов в укусной заливке для маринадов. На завтрак жареные опята, обедаем рыжиками в сметане с картошкой, на ужин суп из боровиков.

Старики вспоминают, что Марс так горел к войне.

### *21 сентября*

Дневник – это не только созерцание времени, которое, по мнению Симоны Вейль<sup>3</sup>, «есть ключ к человеческой жизни», это также бухгалтерия дней. Ибо здесь, в однообразии неба, водки и земли, легко потерять им счет.

Вот сосед Петро. Приходит утром опухший от спирта и спрашивает, какой сегодня день – суббота или воскресенье? В среду похоронили старого Захарченко и так запили, что запутались во времени. Бедолаги.

А сегодня уже вторник.

### *22 сентября*

Сейчас, когда в Бережских есть электричество, пора подумать и о свете духовном в нашей деревне.

Возле нашего дома на взгорке стоит деревянная часовня Сампсона середины XIX века. Ее стройный силуэт в кадре окна с оранжевым шаром луны

---

<sup>3</sup> Вейль Симона (1909 – 1943) – французская женщина-философ, религиозный мыслитель.

над звонницей, отраженный в стакане с бражкой, склонил меня когда-то к покупке этого дома.

История ее постройки среди местных жителей имеет все черты романтической легенды.

Кондобережские, говорят, не раз в прошлом сгорали дотла! Поэтому у домов сажали березы, чтобы защитить их от ветра, несущего огонь. После одного из таких пожаров отстраивать Бережские помогали соседи – мужики с деревни Вигово. Среди них сын богатого купца Карельского. Парень влюбился в кондобережанку, девушка ответила на его чувства и... Старый Карельский был вынужден выложить деньги на постройку часовни, чтобы молодые могли повенчаться и тем затушевать грех.

Что в этой истории правда, а что вымысел, сегодня уже неизвестно. Ибо суть истории в том, что, переходя из уст в уста, превращается в фабулу. Одно лишь точно: часовня в Бережских напоминает виговскую. Словно была ее младшей сестрой.

Рассказывают также, что часовенка сохранилась до наших дней в хорошем состоянии благодаря полету фантазии одного из директоров совхоза «Прогресс», который под влиянием мутного – как самогон – импульса выделил деньги на ее ремонт. Произошло это в семидесятых годах прошлого века. Совхоз переживал тогда время расцвета, вера православная – время заката.

*Nota bene:* часовню Сампсона обновили небрежно, ломая во время ремонта крыши «бочку» с луковкой (знаковую деталь старой веры), но сам факт реставрации сакрального памятника коммунистическим совхозом смело можно отнести к чуду.

– А что стало с иконостасом часовни? – спросил я местного рыбака Сашу Тихонова.

– Плоты из икон делали, – ответил, – пацаны!

Виговской часовне больше повезло, ибо не только часть икон сохранилась (вошли в коллекцию музея Кижского острова), но даже и сам крест нашелся. Знаете где? На чердаке виговского дома.

Произошло это прошлой зимой, в феврале, а может быть, в марте. Я искал тогда ведерный самовар, и кто-то подсказал мне навестить старого охотника Василия Кузнецова, который в одиночестве зимует в Вигово. Кузнецов сразу загнул цену (то ли мой акцент его вдохновил, то ли сплетни о моем богатстве), но когда я хотел отказаться, прибавил волчий капкан и сказал, что есть у него еще и крест.

Крест лежал на чердаке среди рухляди, замотанный в старое тряпье. Вынесли его на дневной свет...

– Боже мой!

Христос на нем изображен в натуральную величину, местами только краска облупилась и грунт известковый просвечивал.

– Давно он здесь лежит?

– Надо бы мать спросить, но она уже не живет.

Если бы кто увидел меня, возвращающегося домой, вероятно, удивился бы: мужик на лыжах с огромным крестом на плечах, самовар подмышкой и волчий капкан на поясе. Самому было не по себе при виде собственной тени.

Именно тогда, на обратном пути из Вигова – версты четыре с гаком по льду – пришла мне мысль этот крест, что с трудом тащил, поставить в нашей часовне. Вернуть Бережским их праздник. А точнее – смысл жизни.

Раньше ведь каждая часовня в Заонежье раз в году отмечала свой праздник. И почти в каждой деревне была своя часовня. Деревенская мудрость гласила: «Весь год живем для праздника». Ба! – эта мудрость сохранилась среди старожилов Заонежья дольше, чем сами праздники, вычеркнутые властью Советов во время ее борьбы с Паном Богом. Как только поселился в деревне, один из местных жителей, Константин Федорович, рассказал мне о празднике Сдвижения, который раньше отмечали в Бережских 27 сентября.

– Сдвижение? Впервые слышу.

– Много чего еще впервые услышишь, – буркнул под нос Федорович, слегка конфузясь.

Думал тогда, что кондобережане попросту исказили название, ибо на 27 сентября выпадает православный праздник Воздвижение креста. Видимо – мудрствовал я – в детстве слышали от стариков и запомнили «движение», но спутали приставку и вместо «воздвигнуть» символ веры христианской вверх, они его сдвинули – на чердак.

Хорошая шутка, если бы... Если бы не Слава Агапитов, заонежский поэт, художник, а одновременно один из лучших ономастов Заонежья. Встретил его недавно и пригласил в Бережские на Воздвижение. Он меня поправил, по-заонежски говорят: Сдвижение. «Значит, Федорович прав», – подумал я про себя, хотя не мог этого объяснить. А из меня лингвист как из козьеи попы – саксофон. Вот и получилась шутка.

Так вот, возвращаясь в Бережские – эти четыре версты с гаком по льду (и крестом на плечах) – решил возродить праздник нашей часовни. Почему нет? Следовало только поговорить с отцом Николаем из Кижей, чтобы приехал к нам 27 сентября и заново ее осветил, после того как большевики ее «обесчестили».

\*\*\*

О батюшке Озолине, вероятно, стоило бы книгу написать. Пока же попробую хотя бы в нескольких фрагментах набросать его портрет. Предупреждаю, что о людях, с которыми дружу, пишется с трудом, ибо в словах невозможно пересказать того, что происходит между нами в молчании.

Познакомились мы 24 июня (по старому стилю) на проселочной дороге к кижскому храму. Увидел его издалека: впереди икона святых Петра и Павла, за ними серая развевающаяся ряса и черная камилавка (скуфья). Поодаль пара

молоденьких послушниц. Вблизи батюшка покори́л меня своими глазами и тучным рослым телом.

Был пик туристического сезона. Как раз проходила мимо (миновала) нас группа из Франции. Их сопровождающая, указывая на отца Николая, обратилась к остальным:

– *N'est-il pas beau celui-la?*

– *Mersi!* – блеснул зубами с усмешкой.

Девушка покраснела как рак. Откуда могла знать, что кижский поп родился в Париже и в совершенстве знает французский!

Наша первая встреча – сидели мы на ступеньках Преображенской церкви – была короткой, как русский тост: «За длинную дорогу!». Потом пришли очередные....

Во время этих встреч мимоходом узнавал подробности его жизни, хотя и беспорядочно (сумбурно), словно книжку (ту, которую, вероятно, стоило бы написать) читал урывками (вразбивку, выборочно, время от времени).

Например: сидим мы у него в столовой у камина, ждем баню. Отец Николай любит выпариться так, чтобы уши от жара сворачивались в трубочку, поэтому послушницы раскаляют камни в каменке до красноты и заранее готовят большой жбан кваса с мятой и березовый веник. А мы тем временем, потягивая холодное шампанское, слушаем Марию Каллас с пластинки, в камине потрескивают осиновые поленья.... Неожиданно отец Николай спрашивает меня, читал ли я Блюма, если нет, то он подарит мне его книгу, и снимает с полки увесистый том. Занятие на всю зиму. На обложке позолоченные буквы: «Антоний митрополит Суровский». А под ними: *Труды*. Листаем иллюстрации.

– Это моя няня, – батюшка показывает фотографию, на которой отец Антоний благословляет женщину среднего возраста с утонченным, одухотворенным лицом, – а тут, возле Григория Флоровского, стоит Владимир Лосский, приятель моего отца; часто бывал у нас дома. О, а здесь Леонид Успенский, художник икон. Я называл его дядя Леня, помню, как меня катал на ослике в своем саду под Парижем.

Или другой пример: смотрим у соседа, простого кижского рыбака, футбольный матч по телевизору. Отец Николай не только заядлый болельщик, но и сам гоняет мяч. Ба, в этом году футбольный турнир в Кижках организовал такой, что на все Заонежье шуму наделал. А на экране тем временем игра нескладная: «Спартак» срывает атаку за атакой. Потом трали-вали, потягиваем пиво под копченого лосося, слово за слово, сосед водку рыжиком закусывает, аж внезапно тема заходит об армии... И тут оказывается – к огромному удивлению соседа, – что батюшка Николай в молодости, как французский подданный, служил в подразделениях НАТО, патрулирующих берлинскую стену.

– Так, так, Лукич, ту самую стену, которую и ты охранял, только я ходил с другой стороны.

И еще один пример: стоим мы в моем кабинете, в молчании созерцая прекрасную икону Марии Египетской, присланную мне из Америки матерью Теодорой. Отец Николай разбирается в иконах, с детства наблюдал, как мама их пишет, а его отец до сих пор преподает иконопись в Православном Институте святого Сергия в Париже. За окном тем временем, на дворе, продолжается свадьба, столы прогибаются от угощений, приехали гости из Усть-Яндомы, из Москвы и из Парижа.... Вся Конда гуляет. Шум, гам. Звон стекла. И гармошка играет. Баба Клава танцует с бабой Шурой. Женя Пичугин уже об эшелонах бормочет. А младший Дима Реперант, сопрано из Парижа, о любви рыдает.

– Это школа исихазма, – вдруг слышу, словно пробудил, голос отца Николая, – изучал ее пару лет в Штатах у отца Иоанна Мейендорфа, моего наставника и исповедника. Знаешь, о чем говорю?

– Знаю, практиковал у отца Германа на Соловках.

Во время последний встречи дал отцу Николаю свой *Волчий блокнот* по-французски.

27 сентября

Низкое небо давит на Онего как надвинутая на глаза ушанка, из-под которой время от времени подмигивает осеннее солнце и освещает берег на той стороне Великой Губы, выявляя яркими вспышками цветочные пятна – оранжевой охры и ядовитой желтизны. Потом картинка за окном возвращается к обычной заонежской палитре – от грязных, как сношенные валенки, туч и пепельного цвета воды к посеревшим от дождей бревенчатым избам и полинявшим от водки людям.

Эта картина была бы уж слишком мрачной, если бы не блеск купола на часовне, который в сером ландшафте сиял осиновым серебром, словно омытый светом перед своим престольным праздником.

Внезапно в кадре появляется милицейская моторка, а в ней какие-то люди. Подходит к берегу и первый на помост выскакивает отец Николай в длинном черном тулупе.

– У нас, Мар, с тобой много общего, – кричит на день добрый, – оба мы не отсюда и оба любим Россию!

– Привет, отче, откуда такой вывод?

– С твоего *Le journal d'un loup*. Мой дорогой! Кто из нынешних российских писателей с такой любовью пишет об этой стране?

За отцом Николаем из качающейся лодки прыгнула на берег стройная девушка.

– Это Саша, моя жена. – говорит отец Николай, весело подмигивая, потом шепотом добавляет: – имей в виду, она журналистка и хочет о вас сделать репортаж.

За Сашей на помост вышли остальные: кантор Лена, так же хороша, как попадья, звонарь Леша с косичкой до пояса, пара послушниц и младший лейтенант Лева, который сразу меня вкурвил, ибо, увидев мою «котерию» (девять котов), сказал, что может их застрелить.

– Он от доброго сердца, – объяснил Леша.

– Ну, дети, за работу, – отец Николай отправил Лену, Лешу и послушниц в часовню, чтобы подготовили храм к молитве. Младший лейтенант Лева остался караулить служебную лодку. Саша достала блокнот.

– Почему пан поляк, очевидно, католик. так близко к сердцу принимает судьбу православной часовни?

Не успел ответить. К дому подъехал грузовик с бабулями в заонежских костюмах – вышитые рубахи, красные сарафаны. Грохнула песня:

*Ты, хозяин, благослови,  
Господин, благослови,  
Трижды по избе пройди,  
Слово вымолви...*

– Вот и наш хор, – поясняю Саше.

Хор с воодушевлением принимается за работу. Столы накрывают, заставляют: одна налетушки в миску складывает, другая калитки достает, третья овсяный кисель разливает, четвертая рыбниками хвалится... А между ними кружит слегка навеселе, что-то напевая, Надежда Кузьминична, руководитель хора. У Кузьминичны сегодня день рождения. К тому же выступление перед батюшкой. Разве не повод, чтоб для смелости рюмочку опрокинуть?

– Так что с этой часовней? – Саша не отступает.

– Во-первых, не люблю наклейки «поляк», «католик» и тому подобное. Подумай сама, если напишу о тебе «попадья» в своей газете, то кому из читателей придет в голову, что ты носишь брюки и занимаешься журналистикой?

– А во-вторых?

– Во-вторых, повторю за Виттгенштейном, что надо молчать о том, о чем нельзя ясно сказать.

– Что это значит?

– С того момента как живу в России, постоянно меня спрашивают, кто я - католик или православный? А ведь это одна и та же христианская вера, когда-то под влиянием политических амбиций расколовшаяся на два вероисповедания, которые в течение времени обросли догмами, доказывающими правоту каждого из них. Слова, слова и еще раз слова. А разве можно вести словесные баталии о Несказанном? Как филолог люблю слово, но убежден, что в начале было молчание.

– Словом, не принадлежит пан ни к одной религии?

– Скажу по-другому: моя вера обходится без слов. Уверяю тебя, Саша, если бы здесь стояла буддийская пагода, заботился бы о ней не меньше.

– Почему?

– Ибо для меня все религии, кроме тех, которые призывают к насилию, одинаково близки: от шаманизма саамов до обета молчания Томаса Мертона. В религии, как и в искусстве, восхищаюсь взлетом человеческого духа, будь то византийская икона или ламаистская танка, Преображенская церковь в Кижях, буддийская святыня в Полоннаруве или Собор Парижской Богоматери, вакка Сайго, псалмы Давида или *Римский Триптих* Иоанна Павла II. Если отбросим *sacrum*, как это пытались сделать большевики, то останется нам алкоголь и бред, достаточно посмотреть вокруг. Прежде чем туризм начнем тут развивать, как Юра Наумов, или устраивать пленэры для художников, как Галина Скворцова, не говоря уже о добыче урана, о чем мечтает олигарх Дерипаска, сначала следует вернуть здешнему пейзажу его сакральный смысл. Словом, духом здесь укорениться. Думаю...

– Это опасно, – засмеялся отец Николай, – лучше помолиться.

В часовне пахло ладаном. Видимо, батюшка успел выкурить большевицких бесов. Стена, на которой еще вчера виднелись белые полосы птичьего помета, тянущиеся от гнезда под сводом, сейчас сияла чистотой. Само гнездо исчезло. У стены стоял крест с Вигова. Иисус на нем выглядел не таким заброшенным, как на чердаке у Кузнецова. Через дыры в полу дуло. Свечи дрожали в сквозняке. Лена с Лешей читали псалмы.

Часовня понемногу заполнялась людьми. Бабули входили боязливо, нервно поправляли платки на головах, бросая украдкой взгляды по сторонам. Потом сбились стайкой вокруг Кузьминичны. Константин Федорович – единственный кондобережанин на богослужении! – присел в сенях на ступеньки, не решаясь сразу войти. Ваян забыл снять шапку, пришлось его подтолкнуть. Виталий спрятался за камерой, делая вид, что снимает. Только отец Николай и его люди чувствовали себя здесь как в родном доме. Начался молебен.

Итак, в этой забытой – казалось бы – Господом часовне, пустой и лишенной икон, разоренной людьми и загаженной птицами, проходило богослужение. Первое со времен финской оккупации, когда тут молились

вражеские солдаты. Богослужение, которым отец Николай со своей паствой, несколько бабуль из Великой Губы, один местный старик, мы с Натальей и два наших городских приятеля, об этой часовне Господу напомнили.

Было в этом богослужении что-то от обрядов ранних христиан. Вот первая христианская община, занятая малопонятным для постсоветских язычников ритуалом.

Постъязычники в это время выпивали (раз праздник) и поглядывали в окна.

Больше скажу, не все члены общины понимали до конца, в чем дело. Бабули били поклоны невовремя и крестились невольно. Ничего удивительного: в комсомоле этому не учили. Константин Федорович рухнул в поклоне на пол, но как бывший мастер спорта Советского Союза с трудом поднялся. Виталий, вместо того чтобы приложиться к кресту, сделал его крупный план. Только Ваян попадал в такт, точно повторяя действия Леши. Невзирая на все, я получил от этого убогого богослужения что-то, чего давно не доставало мне в сытых храмах Запада.

– Сегодня мы написали новую страницу в жизни Заонежья, – сказал отец Николай в заключение. – Написали ее благодаря польскому писателю. Однако в отличие от книги, где любое предложение можно вычеркнуть или поправить, нашу жизнь пишем сразу начисто. Этого дня вычеркнуть уже нельзя.

После молебна шумное застолье: блюда заонежской кухни, в том числе рыба по-польски (след польских разбойников Самозванца в Заонежье) и карельские яства, среди которых царствовала знаменитая «kalarokka» (уха по-старокарельски) и «sekali» (пюре из перловой каши, гороха и костного мозга), далее дичь компании Ваян&Виталий (гусь, запеченный в глине, и рябчики по-вепски), деликатесы от прихожан отца Николая (паляя в сметане, сиг по-петровски и фирменный судак а-ля Озолин в вине), здесь же долма Наташи (голубцы, фаршированные мясом и рисом в молодых листьях свеклы, запеченные в русской печи). Среди закусок грибы на любой вкус (когда-нибудь пробовали квашеные грузди?), разные диковинки, в том числе медвежье сало, и овощи из огорода наших фантазий: цветная капуста, маринованная с аронией, бобы с лисичками и так далее. К тому же напитки по желанию – кому кагор, кому вода, кому брага.

– Святой Сампсон имел прозвище Странноприимец – произнес тост отец Николай, – ибо принимал странников. Выпьем за этот дом в Бережских и за его хозяев. Чтобы здесь так же с радостью встречали каждого путника.

После пары стопок за столом потеплело. Бабули запели:

*Па-а-ла росинка, роса-а*

*На темные леса...*

Очередной тост: за гостей! Лена бабулям подпевает, все громче, все смелее. Дают полный газ. Подключается Леша. Берут на два голоса:

*Ваше поле каменисто,  
Наше каменистее!  
Ваши девушки форсисты,  
Наши пофорсистее!*

Тосты, тосты, тосты... Ваян снимает со стены дошпулур, инструмент тувинских шаманов (мне подарил Саша Леонтьев). Тронул струны. Они молчат. Может, батюшка их смутил, а может, влажность разъела.

– Давайте за любовь, – кричит младший лейтенант Лева.

– Как думаешь, Мар, почему только Федорович пришел? – спрашивает отец Николай, макая долму в соус из аронии.

– Вероятно, застеснялись.

– Они все время стесняются, – вмешался Ваян, – с того момента как мы здесь, ничего другого не делают.

– У нас когда-то мужики на Сдвижение медведя убили, – отозвался молчаливый до той поры Федорович. – Пили на берегу, вон там, у бани Мара. Смотрят, глазам не верят, косматый вдоль берега плывет. Они в лодку. Раз, другой с ружья в него пальнули, а потом давай лупить тем, у кого, что было в руках: один вилами, другой топором, пока не сдох.

– Ну, давайте за мишку!

– За медвежью шкуру премировали нас пожарной помпой.

Опять запели:

*Кижичи близко, Кижичи тут,  
в Кижичи замуж не берут.*

Баба Шура пускается в пляс с бабой Клавой, Саша все пишет, Виталий снимает, младший лейтенант Лева стопку сам себе наливает и бормочет под нос, что надо идти, приближается шторм, Надежда Кузьминична с Леной частушки поют, Ваян о чем-то с Лешей спорит, отец Николай макает очередную долму в соус из аронии. А я поднимаю к глазам рюмку полную морошковой бражки. Хотел бы донести этот праздник в ее янтарном свете тебе, читатель.

26 октября

... смотреть в лицо реальности проще, чем кажется.

Отец Антоний (Блюм)

Время линьки белок и отлета лебедей. Мои тополя вычесывают с веток последние золотые листья на холодное небо в зеркале Онего.

Отец Антоний сравнивает наше сознание с озером, в котором отражается равно то, что делается в нашей душе, как и то, что происходит в нашем теле. С одной стороны, молвит, когда созерцаем небо в воде, то ведь не видим целого небосклона, не замечаем даже тех небес, которые могли бы разглядеть, поднимая взрок ввысь, но наблюдаем лишь фрагмент, вмещаемый зеркальцем воды. Однако достаточно легкого ветра, поднимающего рябь, или мелкого камня, брошенного в воду, чтобы все очертания изменились.

Вскоре придет зима. Гладь затянется льдом, и зеркало Онего покроется снегом.

9 ноября

Старинные иконы, утверждал Клюев, писали так утонченно (прозрачны краски, шепот рисунка), что, когда смотришь на них, они медленно проявляются во время тихой молитвы. Сейчас утрачено чувство иконы – считает автор *Песен из Заонежья* – вместо того родилась мода на афишу, смердящую деньгами и серой.

Чем дольше живу в доме над Онего, тем больше убеждаюсь, что ландшафт тут содержит в себе что-то от духа старых икон. Чтоб это почувствовать, нужно время, безмолвие и сосредоточенность.

26 ноября

Утро. Половина девятого. А за окном темнота хоть глаза выколи – разлитое чернило. В русской печи за моей спиной бушует огонь, отражаясь в окне. Пламя освещает почерневшие бревна повала, добывает тени из мрака,

играет на окладах икон. *Agnihotra*. Жертва огня! Вокруг тишина. Только ольховые дрова шипят в печи, и лаптоп шумит на столе. Изба еще спит.

Позднее мир за окном медленно проявляется, будто фотография. Вначале высветляется по краям снег (как на негативе), вода в Онего остается черной. Потом небо отделяется от воды, и огонь в окнах бледнеет. На фоне неба вырисовываются тополя – ветка за веткой – все четче, все реальней. Вода из черной набирает цвет сепии, волны считать можно. На лодке Жени Пичугина, лежащей вверх дном, вижу каждую заклепку, оттененную снегом, у его бани – каждый венец, тесанный в «обло». Огонь в окне блекнет, никнет... Сникает.

Внезапно солнце вваливается в избу и на «привет», как бы нечаянно, трогает лучом дошпулур (аж струна стонет), затем освещает *Зимний лес* Стронка, разливается по столу медово-золотым светом, покрывает густым слоем стены и потолок, лавы и лавки, сундук, буфет да кадку, стекает на пол и проникает в каждую щель. Наконец достигает печи и обливает ее позолотой.

В печи догорают, мерцая жаром, последние угли.

27 ноября

– Печь<sup>4</sup>,– говорит русская пословица, – наша мать родная. Русская печь – настоящий символ бабы. Лучше всего это видно в повивальных обрядах. Когда женщина рожала в избе, отклоняли печное устье, открывая магическим жестом родовые пути. Угли, выпавшие из печи, использовали для нава, который давали пить роженице, чтобы плод так же легко из нее выскочил. Бывало, что женщина рожала в печи. Младенец тогда появлялся на свет, словно из двойного чрева: женского лона и печного брюха.

Кстати сказать, когда смотрю в мрачное устье печи, где стихия огня соединяется со стихией земли – пламя лижет глину – кажется мне, будто заглядываю в бездну предыстории и заодно в собственную глубь. Ведь еще Гераклит утверждал, что мир начался от огня, а по Библии из глины был сотворен первый человек. Временами вижу там... на задней стене... через пламя – тень... Тень человека у огня в пещере.

Истари русские печи «били» из глины, сырые кирпичи стали использовать позднее. По традиции хозяин сам делал опечье (деревянный сруб

---

<sup>4</sup> Несколько слов объяснения для русского читателя. В польском варианте своего дневника использую иногда русские слова (так называемые русицизмы). Одним из них является русская «печка» вместо польского: «piec». На этом примере лучше всего показать мой замысел. Ибо в Польше нет таких печей, которые можно было бы сравнить с русской печкой. Говоря иначе: в польской действительности нет десигната понятия «русская печка». И каждый, кто читал бы о *ruskim piecu*, имел бы пустоту в голове или эту пустоту заполнил чем-нибудь свойским. Кроме того, слово «piec» мужского рода, «печка» же – женского. Русская печь – это настоящий символ бабы.

на три-четыре венца) и под (тесаные доски с толстым слоем глины). На так называемое «печебитье» приглашал местных парней с девками. Молодежь привозила с собой глину не меньше десяти возов. Месили ее здесь же в избе, топча босыми ногами и уминая глиняное тесто в форму из досок. Сопутствовали этому песни, посапыванье, чавканье глины, визг, шутки и смех. Нередко в глину вбивали полевые камни, ибо, быстрее нагреваясь, они дольше хранили жар. После работы хозяин ставил молодежи «печную» водку, и начиналась гульба. «Печебитье» продолжалось пару часов. Гуляли до утра. А хорошо сбитая печь служила нескольким поколениям.

Сейчас не те времена. Правда, во многих заонежских избах видывал старые русские печи, но – сжался Боже – в каком они состоянии: перекошенные, потрескавшиеся, кое-где палкой подперты, как полусогнутая старуха, подмазаны глиной тяп-ляп. Сегодня никто не «бьет» русских печек, мало кто вообще знает, как это делается. В моде сейчас железные «буржуйки» (последний шлягер канадские «булержены»), для того чтобы прогреть избу летом, если холодно и дождливо. Зимой народ отсюда бежит – кто в город, кто в поселок – к своим бетонным клеткам с центральным отоплением. А подростки (те, кто еще не успел удрать в цивилизацию) ныне предпочитают трястись в ритме техно на паркете сельского клуба, чем стопы себе глиной пачкать.

Разбитые печи в моем доме сначала сбили меня с толку. И даже слухи, что разгромила их местная шпана, ища золотые червонцы Федора Анисимовича, спрятанные якобы здесь в доме от большевиков, – толка ничуть не прибавили. По другой версии шпана искала не кирьяновское золото, а дедовский самогон, однако чего бы там ни выискивали, – думал лихорадочно, – мне от этого зимой теплей не будет. Ибо печника здесь не найти ни за какие деньги. И даже за самогон.

Пришлось самому закатать рукава. Сначала прочел несколько книг о печном деле, все предупреждали, что русские печки имеют один серьезный недостаток – не обогревают низ помещения. Жаль, что тогда не обратил на это внимания, увлекшись деталями конструкции и противопожарной защиты. Обратился также к народной мудрости, выпрашивая у местных стариков, что лучше – под из глины или огнеупорного кирпича?

– Если говорить о прочности, – советовали, – лучше кирпич, зато на глине лучше выпекается хлеб.

А заодно подсказывали разные добавки к глиняному тесту. Одни рекомендовали сажу, другие хвалили сырые яйца, третьи жидкое стекло.

– Но важнее всего, чтобы тесто было упругое на ощупь, – уточнил Федорович. И добавил: – Как ядреная попка.

Наконец взялись мы с Наташей за дело. Помогал сосед Андрей. Едва начали месить глину, мои страхи прошли, как рукой сняло. Ибо одно дело

размышлять о работе, а другое – работать. Не хочу наскучить, как били поды, чтобы Наташа могла выпекать хлеба и калитки прямо на глине, как выкладывали полукругом своды, оббивая каждый кирпич с одного бока, как кожухом из кирпичей дымоходы застраивали, чтобы уберечь от пожара, – это самому надо попробовать. Скажу только, с двумя печами справились мы за три дня. Процесс их реставрации стал лучшим способом познания их тайн – как конструкции, так и секретов мастерства.

Однако настоящую благодать русская печь оказала нам зимой. В нашем доме никто не зимовал почти пятьдесят лет (сам дом относится к началу прошлого столетия), мы же вселились в него летом и не имели ни малейшего понятия об его слабых сторонах – в одном месте стена сгнила, в другом крыша протекала. А зима в прошлом году была – хо, хо! Старожилы такой не помнят: столбик ртути в термометре стоял (как бы замерз) в районе минус сорока градусов по Цельсию. Прорубь в Онего – откуда брали воду! – приходилось каждый день разбивать пешней, пока не сделалась глубокой, как колодец. К тому же неистовый северик продувал дом насквозь. Сквозь половицы тянуло как из преисподней, ибо какой-то кретин разобрал «черный» пол, (скорее всего на дрова), стекла в окнах покрывались толстым слоем инея, а туалет на втором этаже так заносило снегом сквозь дыры, что лопатой нужно было докапываться до трона, чтобы сесть... В такой ситуации одно спасение от холода – лежанка!

Лежанка - это место для сна на русской печи, вид уютной берлоги под повалом избы, закрытой от мира со всех сторон. Наша лежанка имеет размер метр восемьдесят пять на метр семьдесят. Настоящее волчье логово.

Представьте себе: за ночь в избе вода замерзает на полу в ведре (это именно тот изъян русской печи, о котором раньше вспоминал) и утром без лома чаю не выпить, а на лежанке настоящий рай! Можно голым лежать! Без одеял! Не удивительно, что Клюев заявил:

*Не хочу Коммуны без лежанки!*

Ба, если бы только коммуны... Зимой без лежанки жить расхочется.

Сколько раз бывало, промерзал до мозга костей – либо с Павлом Коноваловым похожал сети, либо помогал Наташе полоскать белье в проруби (впрочем, достаточно было несколько часов посидеть за компьютером, когда холодный ветер проникает через щели в доме и руки на клавиатуре коченеют), – залезал на печь и уже через минуту чувствовал, как жар с глинобитной поверхности входит в меня... глубоко... внутрь... Кажется, что мое тело и печная глина единое целое, словно слышал голос старой Михайловны:

– Человек и печь из одной глины слеплены, в нашем теле и глине тот же состав элементов.

Михайловна – ведьма (от слова «ведать»). Глиной врачует все недомогания. В прошлом году выхаживала мою вывихнутую ногу голубой

глиной, завернутой в льняную тряпку, и посоветовала пить глиняный раствор. После нескольких дней синий отек исчез и нога стала как новая.

В русской печи также можно лечиться, это давний заонежский способ на всякую хворь. Достаточно ее хорошо вытопить, лучше всего березовыми дровами и можжевельником, обернуться несколькими слоями мокрых простыней, влезть внутрь, чтобы только голова из устья торчала, и полежать так до седьмого пота.

Знаю, о чем говорю, на себе попробовал. В отличие от Владислава Ходасевича, который что-то о печи русской слышал (в питерских салонах?), якобы хлеб в ней пекут и болезни изгоняют, после все у него в голове перемешалось, и он написал, что Гаврила Державина в детстве лечили запеканием в русской печи в хлебном тесте, ха, ха! И еще удивлялся, что маленький Гаврило выжил после этой процедуры.

Итак, русская печь как родная мать: и греет, и кормит, и лечит. И, без сомнения, сформировала характер русского человека. Достаточно вспомнить сказку об Иване, который не хотел ни за какие богатства слезть с лежанки и даже к царю поехал на печи. Зимой сам с нее не слезаю без надобности.

В эту минуту, когда о ней пишу, стоит передо мной красавица – свежо побеленная, как новая – глаза слепит, отдает теплом и пахнет хлебом.

9 декабря

Не редко задаю себе вопрос: откуда берутся мои атавизмы? Почитание огня, родство с землей, тени в пещере. Чем дольше об этом размышляю, тем отчетливее до меня доходит, что ответ не прост – нисколько.

Во-первых – здешний ландшафт. Куда взгляд ни кинешь: кругом мандера, дороги занесенные снегом, тропы диких зверей... Человеческих следов немного, иногда попадетсся борозда от бурана, лунка во льду, пара обгоревших головней, пятна мочи на снегу – вот и все. Даже там, где недавно былолюдно, – ни живого духа. Вымершие деревни пугают кулями домов, словно просят помощи у неба, от совхоза «Прогресс» осталась груда кирпичей. А если встретишь человека, это обычно пьяный «пейзан» – по определению Донцовой – элемент пейзажа. Элемент, который давно утратил черты *homo sapiens* и припоминает больше камень у дороги или куст на ветру.

В этом ландшафте не найдешь следов древних культур – ни колонн, ни акведуков, хоть бы остатков старого тракта или агоры, ни тени собора, ни развалин замка, ни обломка стены, не говоря уж о газонах, стриженных в течение столетий. Правда, сохранилось несколько памятников деревянного зодчества, но их возраст не превышает ста пятидесяти – двухсот лет. А

единственная церковь Воскрешения Лазаря с Муромского монастыря с XVI века припоминает больше баню Пичугина, чем настоящий храм. На лесных полянах ровные гряды камней, добытых из земли во время пахоты, но называть это следом давних культур в Заонежье язык не поворачивается. Краеведы, с которыми на эту тему беседую, пытаются объяснить:

– Кочевники следов не оставляют. Дерево же, главный строительный материал крестьян Заонежья, недолговечно.

– Все равно создается впечатление, что человек тут вылез внезапно из неолита, поселился в русской избе, потом на скорую руку построил совхоз из силикатного кирпича, а после падения коммунизма вообще отсюда исчез.

Во-вторых – здешний быт. Постоянный контакт с суровой природой. Вода, которую каждое утро должен принести с озера, не важно, метель на дворе бушует и майну снегом заносит по пояс или мороз сковал ее льдом на пядь. Без огня нет шансов прожить, но чтобы его поддерживать, следует дерево притащить из леса, распилить на бревна и расколоть на дрова. По истечении времени начинаешь понимать, почему языки северных народов различают несколько десятков оттенков снега и льда, по звуку чурбака под топором определяешь, какой сегодня мороз, и в мгновение ока по солнцу можешь предсказать погоду на завтра.

Быт на первый взгляд примитивный. В нашем меню преобладает пища, которую самому надо словить в озере, вырастить на земле или найти в лесу и только потом приготовить. Наташа мелет зерно в муку и хмель для дрожжей выращивает у дома. В одежде преобладают местные шкуры и шерсть (ношу свитера, носки и рукавицы из шерсти усть-яндомских овец), а также лен и конопля. В доме господствует дерево и глина, в обиходе колун и сеть – таким образом, в действительности этот быт самый натуральный и здоровый. Не один гость из так называемого цивилизованного мира, где землю закрывает асфальт, небо – небоскребы, а пищу не едят, а только консумуют, – жуя наш черный хлеб и запивая брагой с чаги (позднее его слегка проносит) часто нам завидовал:

– Эх, у вас и правда настоящая жизнь...

– ...что до правды, – смеюсь, – не знаю и не хочу голову ломать, а что здесь ближе до настоящей жизни, это точно. Например, до солнца! Ибо живем мы с вами в той же самой, казалось бы, отдаленности от него, но нам оно диктует ритм жизни – нерест рыб, сенокос, огород, – а вам только светит сквозь смог и определяет время отпуска.

А в-третьих – тишина и уединение. Зимой, кроме нас, в радиусе пяти верст никто не живет, иногда ночью волки прокрадываются через опустевшую деревню, и утром вижу их следы возле дома. Ни один живой звук не нарушает покоя, никто за стеной не скрипит, никто под окном не шумит, на улице не слышно ни трамваев, ни машин. Ба, человеческий голос не доходит сюда даже

через медиа, ибо нет ни радио, ни телевизора, и сплетни мира либо стороной нас обходят, либо приходят с большим опозданием. О войне в Ираке узнал через две недели после ее начала от рыбака, который зашел к нам на чай. Телефонном и Интернетом также меня не достать. Словом, никто и ничто мне здесь не мешает.

В такой тиши можно многое услышать. Греческий поэт Кавафис писал, что если ты один в пустой комнате, то отчетливо слышишь тиканье часов, которое пропадает, когда входят люди и начинается шум, а ведь часы тикают по-прежнему. Вот вчера ночью разбудило меня что-то... будто вой...

– Может, снова волки подошли к деревне, – вслушивался сквозь дрему, – или ветер поднимается к смене погоды?

Завывало, словно звало (из какой то глубины...), не успев понять, в чем дело, провалился в сон. Утром не был уверен: выло ли это на яву или во сне? А может, то мой тотемный предок, – подумал про себя, – отозвался вдруг во мне? Не случайно в этом безлюдье человек роднился со зверем. Тотемизм, анимизм, вызывание духов – каким все это становится близким, когда находишься один на один с белой пустотой. Иногда хочется крикнуть:

– Есть там кто?

*24 декабря*

К югу от Бережских врезается в Онего живописный Ельник – длинный полуостров с вековыми елями. Местная легенда гласит, что под ними похоронены польские паны, которые разбойничали в Заонежье после разгрома отрядов Дмитрия Самозванца. Прогуливаясь там сегодня, вспомнил чудное хайку Юкио Катаямы: ели веселятся, хотя не приглашены на Рождество.

*29 декабря*

*...переставал существовать как персона, сливаясь все больше с пространством, которое его окружало.*

Генрих Сенкевич

В половине четвертого становится темно. Зажигаю лампу на столе, и мир за окном снова сникает. Только время от времени мерцают в темноте блуждающие огни – бураны рыбаков возвращающихся из Большого Онего. Раньше ездили на фонари Великой Губы, нередко сбиваясь с зимника,

накатанного по льду. Когда появилось электричество в Бережских, свет в наших окнах стал им ориентиром в темноте.

– Ваш дом горит как морской маяк, – говорят.

Так вот зажигаю лампу, как – с позволения сказать – Скавинский<sup>5</sup> и пускаю диск с голосами польских поэтов, изданный к двадцатилетию журнала «Zeszyty Literackie», чтобы послушать, как в этой заонежской глуши зазвучит родная речь:

*Zastyga na poboczu dodge i cielska jego przyczep,  
przez chwile parujacy mocz dziurawi snieg i cisze...*<sup>6</sup>

Это голос Бараньчака<sup>7</sup>. Словно доносится с того света. Закрываю глаза... Новый год 1990 года, дом Бараньчаков в Массачусетсе. За столом хозяева, Антоний Либера<sup>8</sup>, Мария Эдер<sup>9</sup> и я. Пьем виски. Аня подает индейку с авокадо, Либера показывает на видео свою новую постановку Беккета – прямо из Лондона. Болтаем о войне в Персидском заливе (версия CNN) и последнем концерте Фила Гласса в Бостонском симфоническом зале, о поэте Джеймсе Меррилле, о художнике Эдварде Хоппере (в связи с моей поездкой на Кейп Код) и о многом другом. Бьют часы, стреляет шампанское. Сташек дарит мне на память свою *Открытку с того света...* Под утро отвожу Марию в Кембридж и возвращаюсь один вдоль реки Святого Кароля в Вотертаун, потягивая из фляжки золотую текилу. На дороге встречаю черного бродягу с бутылем рома. Чокаемся: за Новый год! На другой стороне реки петарды, фейерверки. Идет снег... Разве все это случилось в этой или какой-нибудь другой жизни?

*Z czerniejacego sniegu czyjs, nie wiadomo czyj,  
Wznoszacы sie ku niebu – pastoral, kostur, kij.*<sup>10</sup>

Сташек на диске закончил *Зимнее путешествие*, а я все еще – вызывая духов с CD – блуждаю с закрытыми глазами по тому свету. Голос Херберта<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Скавинский – главный герой рассказа Г. Сенкевича *На маяке*.

<sup>6</sup> Останавливается на обочине дождь и туши его прицепов/ в минуту горячая моча дырявит снег и тишину.

<sup>7</sup> Станислав Бараньчак – зав. кафедрой славистики Гарвардского университета, выдающийся польский поэт и переводчик английского языка.

<sup>8</sup> Антоний Либера – польский прозаик, известнейший в мире знаток творчества С. Беккета, постановщик его пьес.

<sup>9</sup> Мария Эдер – американский драматург.

<sup>10</sup> Из почерневшего снега чей-то, неизвестно чей /поднимающийся к небу – посох, клюка, кий.

<sup>11</sup> Збигнев Херберт (1924-1998) – польский поэт, эссеист.

уносит меня в столовую Мезон-Лаффита, за столом сидят Редактор<sup>12</sup> и пани Софья, и хотя уже их нет, до сих пор они мне ближе, чем многие живые. Голос Крыницкого<sup>13</sup> воскрешает из памяти мою квартиру во Вроцлаве – конец семидесятых годов, конспиративный авторский вечер, где среди молодой кудлатой публики с трудом узнаю себя. Голос Милоша<sup>14</sup> приглашает в Краков, Старый Поэт сам открывает дверь и галантно приветствует... по-русски, смеясь при этом так громко, что эхо его смеха вызывает с кухни Кароль, которая как раз варит кофе для гостей. Голос Загаевского<sup>15</sup> внезапно завез меня во Львов, в котором въяви я никогда не был. И, наконец, услышал, как звучит голос Венцловы<sup>16</sup>, ибо до сих пор у меня в памяти только его храп за стеной гостиничного номера краковского издательства *Знак*.

Отсюда все это кажется – словно с того света.

---

<sup>12</sup> Ежи Гедройц (1906-2000) – бессменный редактор журнала польской эмиграции «Культура» в Париже.

<sup>13</sup> Ришард Крыницкий – польский поэт, издатель.

<sup>14</sup> Чеслав Милош (1911-2004) – польский поэт, лауреат Нобелевской литературной премии (1980).

<sup>15</sup> Адам Загаевский (р. 1945) – польский поэт, эссеист.

<sup>16</sup> Томас Венцлова (р.1937) – литовский поэт, профессор Йельского университета США.